

Современные русские художественные тексты и история языка

Любое произведение художника слова, взятое во всем своем составе, является фактом истории языка, поскольку в каждом художественном тексте воплощается определенная ступень развития последнего и прежде всего его ответвления — языка художественной литературы. Но в данной статье художественные тексты мы рассматриваем не в этом широком плане, а только в одном аспекте: речь идет о том специфическом, что представляет в названных текстах историю русского языка в ее обычном понимании.

Лингвистическое исследование современных текстов русской художественной литературы обыкновенно подчиняют задачам исследования современного русского языка в его литературном варианте и особенно изучению компонента последнего — языка упомянутой литературы. Такое использование художественных текстов как лингвистических источников вполне закономерно, но представляется неполным. Анализ текстов данного рода с точки зрения их значения для истории русского языка, и не только литературного, насколько нам известно, не получил заметного распространения. Между тем привлечение подобных текстов для выяснения и уточнения известного круга моментов и фактов истории языка не только желательно, но порой и необходимо, поскольку в отдельных случаях иные группы источников не дают искомым сведений. В соответствии с сложившимся в нашей науке представлением о хронологических границах современного русского языка, вполне естественно, не совпадающих с границами современной художественной литературы, современными

художественными текстами по строю языка условимся называть такие, появление которых падает на время от Пушкина до наших дней.

Более ранние художественные тексты оставляем в стороне. Являясь либо переводными (Александрия и под.), либо оригинальными русскими, автор которых неизвестен (например, «Слово о полку Игореве», в своем большинстве летописи и некоторые другие тексты), либо, наконец, фольклорными (былины, исторические песни), они, само собой разумеется, требуют иного, специального рассмотрения. Установление их лингвистической соотнесенности с определенной речевой средой, с определенным местом и временем в истории русского языка нуждается в особых методах. Установление это осложняется наличием разных редакций и списков, иногда довольно многочисленных, оформлением некоторых упомянутых текстов по нормам старославянского письма, «буквализмом» русского перевода с иноязычного оригинала и т. д. Старинная лапидарность подобных текстов и, можно было бы сказать; почти исключительно «событийный» характер изложения в них, без детальной художественной обрисовки глубокого внутреннего мира героев, а также конкретной обстановки, в которой события протекают, обуславливают отсутствие в данных текстах определенных категорий лексики, тем самым ограничивая в известной мере возможность изучения по этим текстам явлений в области словаря и его стилистических вариантов, изучения звукового строя и грамматики языка. За пределами темы оставляем и художественные тексты XVIII в., в какой-то мере несвободные от упомянутых особенностей и частью несущие на себе печать теории трех стилей. Разрыв с последней знаменовал начальную стадию формирования современного русского литературного языка.

Хотя современные художественные тексты дают по истории языка менее богатые и более поздние сведения, они заслуживают серьезного внимания, так как свободны от указанных недостатков. В сравнении с ранними художественными текстами они обладают в лингвистическом плане и большей общерусской целостностью и в отношении многих элементов словаря более развитой контекстуальностью, что для оценки тех или иных лексических фактов в истории языка представляется довольно существенным.

Тексты художественных произведений, особенно реалистического направления, по самой сути художественной литературы, которая в зависимости от социальных, идейно-художественных велений времени по-разному образно рисует различные стороны жизни, не могут быть одностильными в лингвистическом отношении, иначе они утрачивают свое основное качество. Стремясь к наиболее правдивому, всестороннему изображению жизни, писатели-реалисты пользуются языком во всем его стилистическом и жанровом многообразии. Вследствие указанных причин в современных художественных текстах (прежде всего прозаических) русский язык более, чем в других категориях источников, представлен в его наиболее полном стилистически-жанровом объеме. Для исторического, в данном случае ретроспективного изучения стилей и жанров, их лингвистической специфики это имеет особое значение.

Сравнение описываемых современных текстов с художественными старинными полезно дополнить сравнением первых с иными, современными источниками по истории русского языка — диалектологическими материалами, принимая во внимание то обстоятельство, что по лингво-локальным элементам и элементам народно-разговорной речи, которыми пользуются художники слова, эти источники вполне сопоставимы. Не получившие по тем или иным причинам литературного значения, эти элементы во многих случаях представляют собой отложения старины.

В диалектных условиях они находятся, так сказать, в свободном состоянии, не связанные в каждом конкретном случае ни с какой общей для данного языка стилистической категорией (о стилистике диалекта, которая, видимо, существует, но совершенно не исследована, мы не говорим). Включенные в систему литературного изложения, иногда как средства речевой типизации, они перестают быть эмпирическими частностями и приобретают значение стилистических обобщений, представляющих с точки зрения носителей литературной нормы, а следовательно, и автора всю народно-разговорную речь, весь диалект в целом. В этом случае подобные элементы, и особенно народно-разговорные, выступают не сами по себе, а как факультативные компоненты литературного языка, точнее, языка художественной литературы.

По наполнению художественных текстов такой лингвистической содержательностью¹, которая является пехарактерной для современного состояния языка, которая в той или иной мере раскрывает его историю, делим указанные тексты на две категории — с объективно сложившимся наполнением и наполнением, воспроизведенным автором. И то и другое художественно мотивировано. Наполнение первого рода — это включаемые в ткань художественного произведения памятники письменности и старопечатные тексты, а также извлечения из них, вносимые в произведение без какой-либо адаптации, за исключением графической. Последняя не касается содержания включений и их языкового оформления, а лишь облегчает для читателя зрительное восприятие старинного текста. Наполнение второго рода образуется внесением в художественный текст тех же самых включений, но не в том первоизданном виде, как они исторически сложились, а в воспроизведении автора, причем воспроизведении творческом.

Старинные тексты, включенные в современные в неадаптированном (кроме графики) виде, не имеют для историка языка никакого источниковедческого значения, если заимствованы из известных, особенно опубликованных памятников письменности: историк языка всегда предпочтет обращение к источнику заимствования. Ограничимся одним примером. Так, певучее восхищение И. А. Бунина Русью и ее народом находит естественное завершение в лирической цитации фрагментов «Слова о полку Игореве»:

«Страна . . . эта грезилась мне необозримыми весенними просторами всей той южной Руси, которая все больше и больше пленяла мое воображение и древностью своей и современностью. В современности был великий и богатый край, красота его пив и степей, хуторов и сел, Днепра и Киева, народа сильного и нежного, в каждой мелочи быта своего красивого и опрятного, — наследника славянства подлинного, дунайского, карпатского. А там, в древности, была колыбель его, были Святополки и Игори, печенеги и половцы, — меня даже одни эти слова

¹ См.: С. И. К о т к о в. О предмете лингвистического источниковедения. «Источниковедение и история русского языка». М., 1964, стр. 8—9.

очаровывали, — потом века казачьих битв с турками и
ляхами, Пороги и Хортица, плавни и гирла херсонские. . .
„Слово о полку Игореве“ сводило меня с ума:

„Хощу бо, рече, коіе преломити конецъ поля Поло-
вецкаго с вами, Русици. . . Не буря соколы занесе чрезъ
поля широкая; галици стады бѣжать к Дону великому. . .
Комони ржуть за Сулою; звенить слава в Кыеве; трубы
трубятъ в Новѣградѣ, стоять стязи в Путивлѣ. . . Тогда
въступи Игорьъ князь в златъ стремянь и поеха по чистому
полю. Солнце ему тѣмоу путь заступаше; ноць стонуши
ему грозою птичь убуди. . . Дивѣ кличетъ врѣху древа,
велитъ послушати земли незнаемѣ, Влзѣ и Поморію, и
Посулю, и Сурожу. . .“².

Представляющее несомненно большой интерес для
исследователей стиля писателя, это «историческое» вклю-
чение (а за ним следуют и другие из того же самого
«Слова») лишено самостоятельного значения для изуче-
ния истории русского языка, поскольку мы, при отсутствии
рукописи, владеем все же первоисточником, хотя и относи-
тельным, — первым изданием «Слова» и Екатерининской
копией. Но в тех довольно редких случаях, когда под-
линник неадаптированного включения известен лишь
автору художественного текста, включение приобретает
значение в известной мере оригинального лингвистиче-
ского источника. Таковы, например, извлечения рома-
ниста из сказания «О хмельном питии», которое встре-
чается в старообрядческих сборниках XVIII в.:

«. . . Сатана же, завистию распяем, позавиде доб-
рому делу божию и нача со бесы своими беседовати, как бы
уловити род человеческий во свою геенну пианством,
наипаче же верных христиан. И выступи един бес из
темного и треклятого их собора и тако возглагола са-
тане: „Аз ведаю, господине, из чего сотворити пианство;
знаю бо иде же остана тоя трава, юже ты насадил еси на
горах Аравитских и прельсти до потопа жену Ноеву. . .
Пойду аз и обрящу траву и прельщу человек“. И восстав
сатана со престола своего скверного, и поклонися тому
бесу, честь воздая ему, и посади его на престоле своем. . .
и нарече ему имя „пианный бес“. И научи той пианный бес

² И. А. Бунин, Повести, рассказы, воспоминания, М.,
1961, стр. 340—341.

человека, како растити солод и брагу делати. . . Тако умудри его бес на погибель христианом»³.

Хотя перед нами — старинный текст, входивший, как отмечает и автор, в старообрядческие сборники, т. е. в общем знакомый исследователям языка, в данном конкретном случае, поскольку нам неизвестно, из какого именно сборника писатель его заимствовал (а что привел его дословно, сомневаться не приходится), и поскольку неизвестно, сохранился ли этот сборник, мы вправе усматривать в данном включении лингвистический источник, как было уже сказано, в известной мере оригинальный.

Неадаптированные включения, представляющие собой даже более поздние тексты, могут давать ценные сведения по истории и диалектологии русского языка. Вот один из таких случаев — отрывок письма столетней давности, написанного Н. Лесковой брату-литератору:

«Если взтумаеш ко мне писат то пиши на почту переяславскую а атуда на ржищевская станцию с пиридачию игумени марий ана пиридаст мне ево. я буду утешана твоими писмыми и глядет как на тепе прощай брат чалую тепе крепко и прошу не забывает ничтожную сестру твою послушничу многа грешную наталию лескову»⁴.

В письме уроженки Орловского края проступают следы интересной особенности — оглушения звонких согласных звуков в положении между гласными (на теле, теле), а также перед гласной (взтумаеш), явления мало-заметного, не чуждого южновеликорусским говорам и в наши дни и в старину, но вплоть до последнего времени не привлекавшего внимания русистов⁵. В связи с публикацией частной переписки XVII—XVIII вв. нам

³ П. И. М е л ь н и к о в (Андрей Печерский). На горах, кн. I. М., Гослитиздат, 1956, стр. 547. — В художественных произведениях, переизданных после реформы орфографии 1918 г., графическая адаптация в отдельных случаях осложняется элементами современной орфографической, скажем, заменой окончания *-ого* посредством *-ого*.

⁴ А. Л е с к о в а. Жизнь Николая Лескова. М., 1954, стр. 415—416.

⁵ Лишь недавно появилась статья, в которой рассматривается эта особенность, однако только в пределах северновеликорусского наречия (В. В. К о л е с о в. Северновеликорусские чередования согласных, парных по глухости—звонкости. «Вестник ЛГУ», № 2. Серия истории, языка и лит-ры, вып. I, 1963).

уже довелось упоминать об этой любопытной особенности части русских говоров, обычно не выступающей в других категориях памятников и потому не попадавшей в поле зрения историков языка⁶; повторяем, она обнаруживает себя едва ли не исключительно в материалах частной переписки. Еще не так давно лингвисты были склонны объяснять интервокальное оглушение только аналогией: если, скажем, вследствие оглушения *д* перед *к* звучит *лотка*, появляется и *лоточка*, а *побета* — потому, что форма род. мн. в произношении *побет*, а не *побед*. Достоинство этого объяснения покоилось на том, что вне возможности подобной аналогии указанная особенность почти не отмечалась. Отсюда ясно, какую ценность имеют строки Н. Лесковой: в них интервокальное оглушение наблюдаем в таком положении, которое вовсе исключает возможность аналогии.

Привлечение в качестве источников по истории русского языка неадаптированных включений предполагает прежде всего установление критерия их достоверности. В общей сложности этот критерий образуют различные данные: от прямых — скажем, указаний автора на буквальный характер включения — до косвенных, но в ряде случаев едва ли не самых важных, основанных на знании творчества писателя, в произведении которого включение функционирует. Указание на буквальный характер включения, причем не совсем обычного — в повествовании персонажа — находим, например, у Мельникова-Печерского: «Так и в старинных записях писано: „А вынутый клад впрок бы пошел, ино церковь божию не забыть, нищей братье расточить, вдову, сироту призреть, странного удоволить, алчного напитать, хладного обогреть“». К этому месту следует примечание: «Взято буквально из записей кладов»⁷. Отсутствие подобного примечания иногда формально компенсируется выделением включения в художественном тексте средствами пунктуации, обыкновенно при помощи кавычек, которое (выделение) позволяет квалифицировать включаемый текст как

⁶ См.: С. И. Котков, Н. П. Панкратова. Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII—начала XVIII века. М., 1964, стр. 9.

⁷ П. И. Мельников (Андрей Печерский). В лесах, кн. I. М., Гослитиздат, 1955, стр. 252.

свободный от неграфической адаптации. Однако само по себе это формальное выделение еще не может вполне свидетельствовать о достоверности включения. Значение вполне достоверного последнее получает только при том условии, если во всем содержании и в лингвистическом облике оно убедительно согласуется с фактами истории народа и истории языка. Выяснению достоверности включений помогает проникновение в лабораторию писателя, когда удается установить, к каким памятникам старинной письменности (их рукописям или публикациям) писатель обращался, каковы были методы работы над ними, насколько вдумчиво, осторожно или, напротив, вольно, неосторожно он поступал с такими источниками, вводя их в общую словесную ткань художественного произведения.

Но если установление достоверности таких включений достаточно сложно, не лучше ли вообще обойтись без них в исследованиях по истории русского языка, тем более что мы располагаем исключительным богатством рукописных первоисточников? Против этого трудно возразить, но все же включаемыми в художественный текст фрагментами старинных источников пренебрегать не следует. В них обнаруживаем дополнительные сведения по истории русского языка, в том числе и сравнительно редкие, как например в письме Н. Лесковой.

Кроме включений, вводимых писателем в виде старинных связных текстов, которые встречаем не часто, возможны и другие — в виде отдельных слов и выражений, выделяемых намеренно как приметы той или иной исторической эпохи или унаследованной из старины этнографической и речевой культуры. Намеренное выделение таких включений осуществляется средствами пунктуации и графики, а также посредством пояснений и затем при помощи примечаний о принадлежности включений историческому прошлому. Многие из образующих включения элементы бытуют в русских народных говорах и осознаются в качестве не сродных современной литературной норме отложений старинного языка, а в отдельных случаях, помимо того, относятся к диалектизмам. Указанные элементы могут восходить и к глубокой устной традиции, и к древнерусской письменности. Так, в заметках И. А. Бунина о фактах подобного рода, бытовавших в его родном говоре, мы находим не менее сведений, чем в диалектоло-

гическом описании, причем таких, которые в стандартное диалектологическое описание могли и не попасть. Они настолько любопытны и, можно сказать, редкостны, что невольно уступаем желанию привести их целиком.

«Старые дворовые употребляли много церковнославянских слов. Они говорили:

— Ливан (ладан), Краниево Место (Голгофа), дщица (малая дощечка), орлий (орлиный), седатый (седой), пядница (маленькая иконка, в пядь), кампан (колокол), село (в смысле : поле). . .

Они употребляли вообще много странных и старинных слов: не надобе (так писалось еще в «Русской Правде»: «не надобе делать того»), Египет-град, младшие (меньшие) колокола, стоячие образа (писанные во весь рост), оплечные образа, многоградный край, средидневный вар (зной), водовод (водопровод), паучина (паутина), безлетно (вечно), дивий (дикий, лесной), лжа (ложь), присельник (пришлец, иноземец). . .

Было это и в крестьянском языке. Мужика лентяя и нищего называли:

— Пустой малый! Изгой, неудельный!

Изгоем же, как известно, назывался безместный удельный князь.

А не то кто-нибудь, бывало, говорит:

— Хочу в *Кыев* сходить, богу помолиться. . .

И невольно вспоминаешь: «Бяше возле града *Кыева* лес и бор велик. . .»

— Ведь, что ж, она мне не чужая, а жена *водимая*. . .

Или (когда нанимались в работники):

— Ну, когда такое дело, давайте, барин, *рядиться*. . .

Опять как в Удельной Руси:

«Зачали *рядиться*, кому пригоже на большом княжени быти. . .»

Потом — *рядиться* в смысле наряжаться:

— Тебе теперь нечего *рядиться*, ты вдова божья, носить тебе надо одни смирные (темные) цвета. . .

И еще вспоминаю:

— К нам так-то *одновá* странный (странствующий) старичок приходил. Смотреть любо! В ручке костылик, за плечиком — дерюжное влагалище (сума, кошель) . . . »⁸.

⁸ И. А. Б у н и н. Указ. соч., стр. 552—553.

Не рискуя связывать, вслед за Буниным, произношение *Кыев* с древнерусским⁹, полагаем все же, что упоминание о нем как старой местной особенности представляет бесспорный интерес. Едва ли не все подмеченные Буниным, особенно «странные и старинные», слова *безлетно*, *вар*, *влагалище*, *водимая*, *дивий*, *дщица*, *изгой*, *лжа*, *ливан* (ладан), *не надобе*, *одновá*, *орлий*, *паучина*, *присельник*, *пядница*, *рядиться*, *седатый*, *село* (поле), *странный* находим в древней письменности (И. И. Срезневский, *Материалы для словаря древнерусского языка*; ДРС). Но значение этих включений состоит не просто в подтверждении данных письменности, а еще в установлении того факта, что слова эти были употребительны, помимо письменных памятников, и в живой народной речи. Далее, в памятниках они выступают вне связи с какой-либо диалектной областью, а в записях Бунина обретают определенную локализацию. Наконец, памятники древней письменности в сопоставлении с данными Бунина документируют бытование рассматриваемых слов в течение ряда столетий. Привлекает внимание одна деталь: отмеченного писателем для *дивий* второго значения «лесной» в «Материалах» Срезневского не встречаем. В заметках писателя не только раскрыта семантика «странных и старинных» слов, но и показаны вместе с тем характерные для их употребления речевые ситуации, правда, не в буквальном, «копийном», а в приблизительном воспроизведении.

Разумеется, трудно говорить о включениях в таких случаях, когда приметы той или иной исторической эпохи или старинной этнографической и речевой культуры писатель вводит в художественный текст без всякого видимого намерения, собственно, как вполне «свои», хотя и комментируя их для неосведомленного читателя. Но, не являющиеся включениями, не заимствованные из других текстов, они, однако, равно относятся к той категории элементов, которые мы рассматриваем. Речь идет об отдельных неадаптированных словах и выражениях. Они встречаются главным образом у авторов-бытописателей. Уже самое комментирование слова или выражения может свидетельствовать о том, что в современную

⁹ См.: С. И. Котков. Южновеликорусское наречие в XVII столетии (фонетика и морфология). М., 1963, стр. 130—133.

автору эпоху оно считалось пережитком старины и многим было неизвестно; комментирование может быть обусловлено и принадлежностью слова, выражения к элементам узкого распространения, к кругу диалектных образований, естественно, большинству читателей незнакомых. И те и другие комментируемые элементы пополняют наши сведения об отдельных моментах и фактах истории языка.

Обратимся к некоторым примечаниям Мельникова-Печерского. Известное в XVII в. произношение слова *Москва* с ударением на основе писатель фиксирует в XIX в. и вместе с тем указывает определенную территорию его распространения. «За Волгой, — замечает он, — во многих местностях говорят *Мóсква* с твердым *о*» («В лесах», I, 489). Редкое *польга* вместо *польза*, не отмеченное в «Материалах» И. И. Срезневского и приводимое В. И. Далем в общем как северное и восточное¹⁰, Мельников-Печерский также приурочивает к определенной области: «Вместо „польза“ в нижегородском и костромском Заволжье говорят „польга“» («В лесах», II, 195). В XVII в. в качестве бранного употреблялось слово *страдник*¹¹. И. И. Срезневский видит в нем значения «работник» и «подвижник» («Материалы», III, 533), а В. И. Даль, раскрывая его семантику («батрак, работник. . . мужик, рабочий, крестьянин»), пример бранного употребления приводит только из разрядных записей, из того же далекого прошлого. В романе Мельникова-Печерского один из героев сетует: «И смирил меня господь за треклятую гордость. . . Не от сильного-могучего, не от знатного, от властного — от своего страдника-работника, от наймиста принял я поношение, потерпел унижение!» К слову *страдник* дается примечание: «Наемный работник, также наемный охотник в солдаты» («В лесах», II, 537). В словах героя и в примечании негативная функция образования *страдник* получает известное объяснение: в глазах имущих (они и придали данному слову бранный смысл) человек, вынужденный работать по найму, уходивший в солдаты по найму, был существом презираемым.

¹⁰ В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, т. III. Изд. 2. СПб.—М., 1882, стр. 275.

¹¹ См.: Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия (из фонда А. И. Безобразова). Издание подготовили С. И. Котков, Н. И. Тарабасова. М., Изд-во «Наука», 1965, стр. 29.

У того же автора зафиксировано промежуточное между старым русским и современным значение слова *захребетник*, раскрытое, впрочем, не в примечании (заимствованном у Даля), где сообщается об иной семантике, а в тексте произведения: «Очередь даже велась меж крестьянами; воспитанье подкидышей стало у них чем-то вроде повинности. Чужих детей принимали крестьяне с великою радостью. . . . Такую страсть до чужих детей надо тем объяснить, что по возрасту они взамен родных детей в рекруты сдавались. В лесах за Волгой таких приемышей зовут „захребетниками“» («В лесах», II, 88).

В 80-х годах минувшего века в примечании к рассказу «Пугало» о лексическом заимствовании из украинского в орловском говоре сообщал Н. С. Лесков: «Башмаки по-орловски *ч е р е в и ч к и*»¹². Началом минувшего века в примечании к рассказу «Грабеж» датировал он пережиточное употребление в Орле старинного слова *гуня*: «Гуня — старинное слово; значит: обносок, рубище. В Орле 50 лет назад еще говорили „гуня“»¹³. У Даля *гуня* и *черевишки* в орловских местах не указаны (Слов. I, 419), поэтому сведения Лескова представляются нам существенными.

Особый, имеющий ближайшее отношение к истории русского языка характер всех приведенных выше комментированных фактов в общем ясен. При отсутствии авторских примечаний, в какой-то мере филологического свойства, извлечение сведений по истории языка из современных художественных текстов имеет только одно надежное основание: наличие соответствий, параллелей в памятниках письменности. Существование их в народных говорах, при отсутствии соответствий в памятниках — основание менее надежное. В свете данных старинной письменности иногда и такие сведения, которые по первому впечатлению можно было бы отнести к чертам исключительно индивидуальной характеристики действующего лица, приобретают более общее лингвистическое значение как особенности крупных диалектных образований, а может быть, в целом и русского языка.

Вот любопытная деталь из «Дневника лишнего человека» И. С. Тургенева: «. . . ездили также два помещика,

¹² Н. С. Л е с к о в. Собрание сочинений, т. VIII. М., Гослитиздат, 1958, стр. 33.

¹³ Там же, стр. 144.

друзья неразлучные, оба уже немолодые и даже потертые, из которых младший постоянно уничтожал старшего и зажимал ему рот одним и тем же упреком: „Да полноте, Сергей Сергеич; куда вам? Ведь вы слово: пробка — пишете с буки. Да, господа, — продолжал он со всем жаром убеждения, обращаясь к присутствующим, — Сергей Сергеич пишет не пробка, а бробка“»¹⁴. В описаниях южно-великорусских говоров замечаний о таком явлении не обнаруживаем. Только В. И. Чернышев, касаясь нарушений орфографии в школах южновеликорусской области, в свое время отметил: «. . . имеется ряд странных и грубых ошибок, происхождение которых я не сумею связать с деятельностью зрения или мускулов руки», — и привел в числе других ошибок написание *по брыгали* (попрыгали)¹⁵. В свете некоторых данных старой русской письменности особенность, подмеченная Тургеневым, выступает как черта сравнительно распространенная, бытовавшая в говорах с давних пор. В 1673 г. приказчик писал барину из его костромской вотчины: а бруд. . . я холоп твои здѣлал а то была скатина всякая померла без воды¹⁶; в допросе, который производился в 1674 г. в Костромском уезде, сказано: про вино. . . добрашивал сколько какова хлѣба рожшено на солод¹⁷; в 1693 г. в Коротояке разбиралось судебное дело: мат ево. . . сказала то де шуба наша. . . велите. . . мат ево в шубе добросит¹⁸; в брянском тексте 1783 г. читаем: обракинулись мои сани¹⁹. Ср. след озвончения зубного в положении также перед *p* в письме сельского старосты: гедрю Педру Андрѣвичу²⁰. Подмеченный Тургеневым, казалось бы случайный, факт в одном ряду с аналогичными, хотя и сравнительно редкими, фактами из памятников открывает перед нами фонетическое явление, которое не попадало в поле зрения исследователей, не привлекало их специального внимания. В актуальности озвончения *n* в положении перед *p* на Юге

¹⁴ И. С. Тургенев. Собрание сочинений, т. V. М., Гослитиздат, 1954, стр. 190.

¹⁵ В. Чернышев. В защиту живого слова. СПб., 1912, стр. 52.

¹⁶ ЦГАДА. Белгородский стол, стб. 1100, л. 32 об.

¹⁷ Там же, стб. 1100, л. 134.

¹⁸ ЦГАДА. Приказный стол, стб. 1661, л. 112.

¹⁹ П. Тиханов. Брянский говор. — Сб. ОРЯС, т. LXXVI, № 4. СПб., 1904, стр. 31.

²⁰ ГИМ, ф. 253, № 39, л. 66.

во времена Тургенева вряд ли можно сомневаться: оно представлено в заимствовании из немецкого или голландского, причем заимствовании относительно позднем.

Помимо элементов характеристики говора, рассеянных в речи персонажей, в художественных текстах иногда попадаются не лишённые известного научного интереса в плане истории языка попытки обрисовки локальной речи, принадлежащие авторам произведений, по наиболее ярким, в их представлении, наиболее характерным ее чертам. Такая обрисовка может быть дополнена этнографическими сведениями. Пример из «Гардениных» А. И. Эртеля:

«. . . барские не упустили случая посмеяться над однодворцами и передразнить их говор: каго и чаго вместо «ково» и «чево», що вместо «што», — поглумиться над их манерой одеваться: толсто наворачивать онучи, носить широчайшие, с бесчисленными складками сапоги, кафтан с приподнятыми плечами и высоким воротом, уродливые кички и паневы у баб. По праздникам барские и однодворцы не ездили друг к другу. Даже в церкви норовили становиться отдельно. Почти не было примеров, чтобы барскую девку отдавали за однодворца или однодворку за барского»²¹.

Отмечая отдельные приметы говора, Эртель, как видим, указывает и на отношение к ним в соседней инодиалектной среде, иными словами — на момент социальной диалектологии, которой редко касаются в диалектологических описаниях.

Ср. выделение однодворческого говора без упоминания о его особенностях в рассказе Бунина «Божье дерево»:

— А откуда ты и как величать тебя?

— Козловский однодворец, Знаменской волости, сельца Прилепы. А звали Яковом. Яков Демидыч Нечаев.

И все так ладно, бодро. Что однодворец, сразу заметно — по говору²².

Теперь обратимся к частностям. Обыкновенно для исследования ударения привлекают только стихотворные тексты, поскольку в них место ударения связано с ритмикой стиха, а ритм стиха известен. Однако цеп-

²¹ А. И. Э р т е л ь. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги. М., Гослитиздат, 1954, стр. 62—63.

²² И. А. Б у н и н. Собрание сочинений, т. IV. М., изд-во «Правда», 1956, стр. 141.

ные сведения о старых и новых отношениях в сфере акцентологии заключают и некоторые тексты художественной прозы. О том, насколько существенны бывают эти сведения, можно судить, например, по данным, извлеченным из книг Эртеля²³, жизнь и творчество которого в большой степени связаны с южновеликорусской средой. Эти данные имеют отношение почти исключительно к речи персонажей, а не авторскому повествованию; в ряде случаев акцентологические особенности сопутствуют изменениям в формообразовании: *беблѣтику* («Смена»); *в городѹ* («Смена»); *полный вентеря* («Гарденины»); *возлѣ*: «Возлѣ!.. Возлѣ окаян-п-ая..» — кричит пахарь и по-нукает лошаденку.. («Записки степняка»); *воля*: — Что ж поделаешь.. — вздохнул ходок.. Никаких волей тебе нету-ти.. — Ведь оне у всех одне — воля-то! («Записки степняка»); *в те поры* («Записки степняка»); *выгонá*: [Отец Юс] Выгонá все пораспахали! («Записки степняка»); *должбн* («Смена»); *дьяволá* — им. мн. («Смена»); *здорово*: [Сашутка] Действительно мы с ним маленечко того.. здорово безобразничали («Смена»); *кблок*: [Сергей Петрович] ..это ведь начинается моя земля: вон Медвежий кблок.. («Две пары»); *мясá*: [Алферов] Там Мурильо, Гвадалквивир, испанка оперлася на балкон.. а у нас — мясá, туши, сало («Смена»); *навалёны* («Смена»); *нарочитб*: Письмо было такого содержания: ..Писал по воле Фелицаты Никаноровны и под ее диктант нарочитó приверженный конторщик.. Агей Дымкин («Гарденины»); *общество* («сельское общество, мир») («Записки степняка»); *огрех*: [Онисим] Вот на пахоту пришел.. У меня ежели огрех — я проберу («Записки степняка»); *одновá*: [Алеша] Я одновá состязался с таким.. («Смена»); *б-полночь*: [Поплешка] ..сел на ночь в алтаре.. и вдруг б-полночь приходит белый старец («Записки степняка»); *подотя* — вин. мн. («Смена»); *позавчѣра* («Записки степняка»); *помѣр* («Записки степняка»); *пóтом*: [Дворник] ..с чего они спят-то долго? [Григорий Евламыш] — А с того и почивают, что госнода. И потом (Григорий говорил «пóтом») женский быт. В женском быту завсегда, брат, снится крепче («Гарденины»); *просá* — вин. мн. («Волхонская барышня»); *прбцент* («Смена»); *рбманы* («Гарде-

²³ В скобках указывается произведение. В отличие от авторских многоточий наши пропуски в цитатах обозначаем двумя точками.

нины»); *свежинá*: [Ефрем Капитоныч] . . ши «с свежиной», олады и тому подобное. . («Гарденины»); *скóромь* («скоромное») («Смена»); *сорá* — им. мн. («сорные травы») («Смена»); *сновá*: [Онисим Варфоломеич] Где это видано — наезднику руки не подает; я тогда, сновá-то, протянул ему руку, а он. . один палец выставил («Гарденины»); *способá* — им. мн. («Смена»); *третьёводни* («Гарденины»).

В авторском повествовании: *жнивá* — им. мн. («Записки степняка»); *насторбже*: Казалось, простодушная чистота девиц заставляла кавалеров быть даже слишком насторбже («Смена»); *подрезá*: Лошади плетутся себе шажком, гужи скрипят, подрезá визжат. . («Жадный мужик»).

Приведенные случаи, как было сказано, за весьма немногими исключениями относятся к речи персонажей. Напротив, в стихотворных текстах подобные случаи крайне редки, в них едва ли не исключительно представлена акцентология авторской речи. Лишь в той незначительной степени, в какой автор является носителем местного говора, получает отражение в его стихах и локальная акцентология.

Заметим кстати: в словаре Даля таких акцентологических фактов, как, например, *нарочитó*, *бгрех*, *пóтом*, *скóромь*, *сновá*, не зарегистрировано.

Рассмотрим теперь такие случаи, когда лингвистическая содержательность, нехарактерная для современного состояния языка и в той или иной степени раскрывающая его историю, представлена в творческом воспроизведении автора. При этом следует иметь в виду, что некоторые соответствующие включения не всегда могут быть четко отграничены от включений неадаптированных.

Например, у Пушкина встречаем включение, которое, собственно говоря, является подлинным судебным документом: настолько незначительна его неграфическая адаптация. Только отнесенность этого документа к персонажам художественного произведения, что было связано с заменой упоминавшихся в нем имен, позволяет условно присоединять его к категории включений, представленных в творческом воспроизведении писателя. Таково приведенное в «Дубровском» определение уездного суда, о котором автор говорит: «Мы помещаем его вполне», т. е. в полном виде, полностью. Известно, что это определение — копия с решения суда по делу между подполковником Крюковым

и поручиком Муратовым, которое рассматривалось в Козловском уездном суде в 1832 г. Пушкин включил ее в художественный текст без переделок, заменив только имена ²⁴. Свойственный старинному судопроизводству особый языковой колорит сохранен в неприкосновенности.

Однако, обращаясь к лингвистической содержательности, нехарактерной для современного состояния языка, представленной в творческом воспроизведении автора, мы имеем в виду не столько включения, сколько органическое слияние в художественном тексте современной речи с элементами «исторической», когда писатель воссоздает речевой колорит минувшей эпохи. Разумеется, подобные воспроизведения колорита минувшей эпохи лишены значения оригинальных источников для того периода развития языка, к которому писателями они относятся, но они получают такое значение, когда изучают судьбу унаследованной от названного периода системы языка в сфере письменного общения последующих поколений, с точки зрения ее восприятия этими поколениями. Не приходится говорить о том, что подобные воспроизведения в полной мере сохраняют значение оригинальных источников при анализе языка художественной литературы, особенно состава и функционирования в нем элементов «исторических», образующих колорит минувшей эпохи. Но это уже особый вопрос, не имеющий отношения к нашей теме.

Характер слияния в художественном тексте современных и «исторических» элементов и их соотношение в нем определяется двумя моментами: с одной стороны, необходимостью воссоздать речевой колорит эпохи, с другой стороны, непременным условием — не выходить при этом из соответственных норм современного литературного языка (фонетико-грамматических и иных), или, точнее говоря, из с и с т е м н о с т и. Естественно, это предполагает внесение в художественный текст только таких «исторических» элементов, которые в том или ином отношении выдержали испытание временем и, в плане понимания их, для современного читателя являются приемлемыми. Любопытно, например, что к тексту романа А. Н. Толстого «Петр Первый», богатому речевой старинной, дается всего лишь два примечания, объясняющих значения ста-

²⁴ См.: А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VI. Изд. 2. М., Изд-во АН СССР, 1957. Примечания, стр. 771.

ринных слов: *ям* («постоялый двор»), *правеж* («пытка, которой подвергали должников, покуда не заплатят»). А. В. Алпатов обоснованно писал:

«Изучая документальные материалы, отмечая наиболее типичные для языка XVII—XVIII веков выражения и слова, писатель обычно стремился найти и зафиксировать прежде всего те слова и обороты речи, все то, что носит колорит старины, но в то же время может быть понятно и близко современному читателю.

Когда Алексею Толстому приходилось использовать в своем „Петре Первом“ памятники русской письменности XVII века, подлинные древние тексты, он с большой осторожностью, с редким художественным тактом умел разгружать их от наиболее архаичных оборотов и обветшалых языковых форм»²⁵.

В данном случае художник слова, являясь носителем современных норм русского литературного языка, вводил в его лексический состав только такие элементы старой речевой культуры, которые и поныне не утратили некоторых связей с ним, обычно специализированного характера. Совокупность подобных лексических элементов — ценный источник для историка языка. Исследование их в сравнении с соответственными фактами из памятников письменности проливает свет на эволюцию значений, семантическую специализацию этих слов, эволюцию их синтаксических и словопроизводственных возможностей и т. д. Реальность наблюдений подобного рода обусловлена тем, что в качестве используемых для воссоздания колорита старины эти элементы, поскольку они в общем не выпадают из современного языка, могут быть в известной степени противопоставлены своим историческим аналогам. Впрочем, в составе художественного текста то или иное старое слово, претерпевшее с течением времени семантическую эволюцию, может иногда функционировать в прежнем семантическом объеме. Вот один из примеров. Слову *чадо* в современных словарях литературного языка сопутствуют пометы *церк.*, *книжн.*, *устар.*, *теперь шутл.* (Слов. Ушакова), *стар. и ирон.* (Слов. Ожегова). А в романе «Петр Первый» оно выступает без современных стилистических оттенков, скорее в старом семантическом объеме:

²⁵ А. В. Алпатов. Комментарии, стр. 848 (Алексей Толстой. Собрание сочинений, т. VII. М., Гослитиздат, 1959).

«Чада прыгали с ноги на ногу, — все были босы, у Саньки голова повязана платком, Гаврилка и Артамошка в одних рубашках до пупка». «Чада кинулись в темную избу, полезли на печь, стучали зубами».

Сравнение этих случаев с употреблением слова в памятниках на первый взгляд как будто не представляет интереса. Но это первое впечатление едва ли не ошибочно. Для старой русской письменности употребление слова *чадо* в бытовых, обыденных ситуациях, наподобие описанных в романе, было нехарактерно. Во всяком случае, ознакомление с обширными материалами частной переписки XVII—начала XVIII в. склоняет именно к такому выводу. Сравнение, как видим, не бесполезно. Но оно показывает: перед нами в романе — не момент воссоздания реального колорита определенной исторической эпохи, а условная стилизация авторского повествования, т. е. факт, имеющий отношение не к истории русского языка, а к исследованию языка художественной литературы. Итак, не всякий элемент внесенной в художественный текст «исторической» лексики может быть использован историком языка. Необходим критический отбор «исторических» элементов и учет того обстоятельства, что в качестве данных для истории языка они представляют известную ценность не просто сами по себе, а лишь при наличии соответствий в старой русской письменности, а также в народных говорах, а при отсутствии в последних, по меньшей мере, — в первой.

Приведем случай, хотя и не существенный, но имеющий отношение к истории языка. Когда-то *дневать* означало «нести охрану чего-либо в течение всего дня», а *дневать и ночевать* соответственно — «охранять и днем и ночью». Так, в 1633 г. служившие в Валулке стрельцы и казаки в челобитье своем писали: на остроге на двенадцати башнях короулим и у петяры ворот *днюем*²⁶; мы холопи ваши пѣшие стрелцы пушкари и затинщики *днюем и ночьюем* у вашей гдрьскои казны и на городе²⁷. Ср. в современном русском языке: *дневать и ночевать* (разг.) — проводить все время (Слов. Ушакова). Можно думать, переходное между этими значение представлено в романе А. Н. Толстого: «Бывало и так, что уж, — все

²⁶ ЦГАДА. Севский стол, стб. 94, л. 223.

²⁷ Там же.

одно голова с плеч, — заупрямится боярин и, не отставая, увещевает и стыдит [Петра]: Отца-де твоего на коленях держал, *дневал и ночевал* у гроба государя, род-де наш от Рюрика, сами сидели на великих столах. Ты о нашей-то чести подумай, брось баловство, одумайся, иди в баню, иди в храм божий. . .».

Среди вносимых в художественные тексты «исторических» элементов много таких, которые являются названиями предметов и понятий, оставленных в далеком прошлом, чуждых нашей эпохе. Поскольку с течением времени они постепенно выпадали из жизни русского общества, а их названия, за исключением сравнительно редких случаев, не переносились на иные предметы и понятия, впоследствии не было никаких оснований для семантической эволюции этих названий. Таковы, например, отмеченные в романе А. Н. Толстого слова *бармы*, *батог*, *кружало*, *новик*, *опашень*, *поверстать* (землей), *правеж*, *саадак*, *терлик*, *ферязь*, *ярыжка*²⁸. Заимствованные автором из памятников письменности для придания повествованию колорита старины, они, однако, вполне понятно, не могут служить оригинальными источниками в плане разработки истории языка. Лингвист, естественно, обратится не к ним, а к соответствующим фактам из памятников.

Итак, современные художественные тексты заслуживают внимания языковедов не только с точки зрения исследования языка художественной литературы, но и с точки зрения исследования истории русского языка. Второе направление в нашей науке еще не получило признания. При наличии необыкновенно развитой, могучей художественной литературы, вобравшей в себя огромные богатства русской народной речи, это вызывает недоумение.

²⁸ Для современных носителей русского языка значение их порой приблизительно, но достаточно в смысле общего понимания обыкновенно раскрывается в контексте. Читателю, скажем, довольно знать, что *опашень* и *ферязь* — виды одежды, что носили их в старину, а различия между ними для него не существенны.